

Мила Сович

Экзерсис на середине

Генералам
двенадцатого года
сборник



Мила Сович

Экзерсис на середине

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70254067

SelfPub; 2024

Аннотация

Генерал Ермолов писал Милорадовичу: "Надобно иметь запасную жизнь, чтобы быть везде с вашим превосходительством". 14 декабря 1825 года запасной жизни у петербургского генерал-губернатора не оказалось... Исторический рассказ из серии рассказов "Генералам двенадцатого года".

Мила Сович

Экзерсис на середине

Серый зимний свет декабря разливается над Петербургом. В многочисленных казармах – гомон, суетятся чернорясые батюшки, прохаживаются офицеры, нервно теребя перчатки.

У Театрального училища, возле черного хода, фыркают лошади, бьют копытами истоптанный снег. Катя выбегает после ежеутреннего класса – одна, отпросилась пораньше. Машет кучеру казенной кареты – доберется пешком.

Мерзлый канал в прозелени льда, слепые от сырости окна. Кое-где на набережной – лужи слякоти в снежном крошеве. Падают липкие хлопья.

С треском подков пролетает верховой фельдъегерь, жмутся к стенам прохожие.

Скрипит тяжелая парадная дверь.

В открытой нижней гостиной – господин Майков, директор театров. Катя наспех делает книксен и взбегает по лестнице. Ее квартира не заперта – она успела!

Граф Милорадович стоит у окна и смотрит на хмурое небо. В городе праздник – присяга, и разномастные слухи галками выются вокруг Адмиралтейской иглы. Здесь ли место сейчас генерал-губернатору?

Катя падает в кресло, торопясь, нога за ногу, стаскивает

ботики и, вскочив, начинает прыгать, скрещивая щиколотки в лентах бальных туфель. Четыре антраша на шестнадцать счетов – и снова, и выше...

– Промочила ноги, – хохочет, задыхаясь, тянется, переломившись в талии, обнимает себя под колени.

– Бог мой, Катюша! Зачем же ты так бежала?

Ясный взгляд из-под мокрого капора.

– Боялась, вы уйдете.

– Не сейчас, душа моя, – он улыбается в ответ.

Мазком красок среди простой гостиной – ворох цветов в вазе. Катя смеется, поднимает руки, идет навстречу арабесками Амура из «Зефира и Флоры», ее детской дебютной партии. Каждый шаг – на четверти стопы, в равновесии, под распахнутым пальто дрожит у колен пышный край сценической юбки. За узкими туфлями остаются на паркете сырые следы.

– Бог мой, с класса – и с мокрыми ногами? Тебе надо переодеться.

Плывет под серым небом золотой кораблик на шпиле. От рукавов пальто, от широких полей капора пахнет сыростью, декабрем Петербурга, а губы под губами – теплые...

Отстранившись, он толкает ее в кресло.

Сверху вниз Катя смотрит на генерала перед собой на коленях. Испуганно перебирает ленты капора под подбородком.

Милорадович проводит ладонью по влажной ткани чулка, пальцами разминает усталые мышцы, гладит крепкое колено

под пышной юбкой. В любую минуту может войти горничная, подняться снизу – господин Майков. Что скажут, застав генерал-губернатора у ног содержанки? Глаза у Кати круглятся от нарастающего испуга, голос дрожит, но она говорит как можно небрежнее, будто все хорошо:

– Эх, жалко! Пропали туфли.

Мокрый узел завязок затянулся намертво, хоть режь. Щиколотки и пальцы – ледяные от стылой лужи. Сбросив капор и выпутавшись из пальто, Катя морщится, изгибается в талии, поднимает подол. Отстегнув подвязки, скатывает мокрые чулки. Меняет ногу, тянет носок на себя – смешно, как скоморохи в дивертисментах на русскую тему.

Милорадович долго растирает в ладонях натруженные ступни. У Кати лишь едва колеблются ресницы да повлажнели глаза – ей больно, но балетные терпеливы.

Горничная приносит сухие чулки, толстые, нагретые у печки, и грубошерстное вязанье обнимает усталые ноги. Катя счастливо вздыхает, напуская чулки на лодыжках в теплые складки. Шевелит пальцами, блаженно тянется.

– Согрелась?

Она кивает. На губах дрожит невысказанный вопрос.

– Я свободен, – уверенно говорит Милорадович. – Государь перенес время присяги.

– Приказать кофе?..

Он знает Катю насквозь. Кофе так кофе. Отличный предлог занять кресло в уголке и смотреть, как, выходя на сере-

дину и начиная экзерсис, она приседает – низко, точно перед балетмейстером на ежеутреннем классе...

Первая позиция. Плывут за окном серые облака. Руки у Кати подняты кругло, взгляд провожает движение кисти и медленно гнутся колени. Гран-плие. Восемь счетов вниз. Раз.

Милорадович дергает галстук, смотрит сквозь, будто ждет чего-то.

Два. Тянет мышцы, теплом обдает напряженную спину.

Три. Чашка с кофе тоненько звенит фарфором о блюде.

Четыре. Юбка метет паркет. Пять.

На улице стук копыт и колес.

Шесть. Пятки в грубой вязке чулок отходят от пола, ступням уже давно тепло. Милорадович нервно берется за галстук. Хлопает где-то дверь.

Семь.

Он встает еще раньше, чем вбегает тяжело дышащий вестовой казак. Восемь.

Задержаться. На середине, в глубоком приседе, когда колени почти касаются пола...

– Ваше высокопревосходительство! У московцев бунт!

– Еду, – он странно спокоен.

Гран-плие, восемь счетов вверх. Экзерсис продолжается.

Катя считает. Шепотом. Не слышит сама себя. Он не трогает галстука, расправляет двугольную генеральскую шляпу, снимает с кресла шинель.

Лишь от двери Милорадович коротко оборачивается. Метет пол короткая сценическая юбка, за окном валит серый снег.

Он подмигивает и выходит. Катя старательно дышит, глубоко и ровно. Ноги согрелись и пылают, это самое главное – не спешить с разогревом, и очень жаль, что в ее гостиной нет балетного станка...

Она не смотрит в окно. Губернаторский экипаж срывается прочь. Они не простились. Хорошая примета – они не простились. Он скоро вернется.

Мелькает, вскачь несется мимо кареты набережная канала святой Екатерины, колеса гремят. Бунты, наводнения, пожары – генерал-губернаторская служба. Он всегда возвращался.

Ледоходом Невы гудит вдалеке толпа. От канала – поворот на проспект. У Петровской бронзовой прозелени встопорщены штыки, волнуется площадь.

Экзерсис продолжается.

В оставленном доме, в простой гостиной с ворохом ярких цветов в вазе, Катя кладет руку на высокую спинку кресла. Батманы – вперед, вбок, назад. Первая позиция, вторая... Только что здесь висела его шинель.

Летят камни в карету, валится с козел раненный кучер, и самого губернатора хватают за ворот шинели.

Удар кулака швыряет невежу в толпу, на мундире горят алмазные звезды.

– Шапки долой!

Долгая пауза, перерыв. Отдышаться.

– Простите, ваше сиятельство... Обознались, вашми-
лость...

Исполняют.

Катя снова выходит на середину, и экзерсис продолжает-
ся. Шаг, один, второй. Бризе. Взлетает в прыжке, колышется
юбка у самых колен. За окном снег почти утих.

На Дворцовую Милорадович добирается пешком, смот-
рит и слушает. Улицы запружены людьми, стремящимися к
недостроенному Исаакию, но перед ним все же расступают-
ся. У самого дворца он срывается в бег, мнет надорванный
воротник, дергает галстук.

– Государь... Ежели они меня привели в такой вид, тут
действовать только силой.

Холодный взгляд Николая.

– Вы военный губернатор и отвечаете мне за порядок в
столице.

Что ж, можно и ответить! Рваная шинель летит в сторону.

Катя смотрит на вазу – яркий ворох, пятно цвета. Взгляд,
пируэт, баланс. Экзерсис продолжается.

Мчатся по городу чужие, одолженные обер-полицмей-
стерские сани – через Синий мост на Мойку и дальше, в ка-
зармы Конной гвардии, отрезанной от Зимнего строем мя-
тежников.

У гвардейцев тепло. Тихо. Хрупают сеном лошади в ко-

нюшнях, у двери отдает честь дежурный.

– Точно так, ваше сиятельство! Собираются.

Плывет над декабрьским Петербургом золотой кораблик на шпигеле Адмиралтейства. Топчутся по снегу озябшие мятежные солдаты у Медного всадника, против них горячат лошадей кавалергарды, прохаживаются перед полками офицеры – все полки могут быть ненадежны. Толпа на морозе притихла, прячутся в поднятых воротниках озябшие носы.

Стоят.

В теплой комнате Катя репетирует пластические позы. Мольба – подняты и колеблются тонкие руки. Отказ – раскрытые пальцы прижаты к лицу, голова отвернута, стопа в грубошерстном чулке как можно изящнее тянется на носочек.

На двор конногвардейских казарм лениво падает редкий снежок.

– Где гвардейцы? Мой Бог, сколько мне еще ждать?

Дежурный, со всей преданностью – во фронт, руки по швам.

– Не могу знать, ваше сиятельство! Собираются! Сей минут седлать пошли!

Милорадович набирает побольше воздуха в грудь.

– Да видал я в таких и во всяких видах и гвардейцев твоих с конями, и командиров ваших, и сволоту эту на площади со всеми ее завихрениями! Дайте мне лошадь!

Обомлев, дежурный тихонько свистит ему вслед – куче-

ряво загибает его сиятельство... У ворот мнется растерянный молодой адъютант с гнедым конем в поводу, расцветает улыбкой, когда Милорадович пристально смотрит ему в глаза.

Конь не строевой, а хозяйский и дурноезжий: стоит занести ногу через седло – прыгает вперед, хочет бить задом. Ахнув, адъютант хватается коня под уздцы, виснет на морде.

Разобрав поводья и поправляя перчатку, Милорадович усмехается.

– Мой Бог! И на том спасибо, Конная гвардия!

Адъютант отчаянно краснеет.

– Простите, ваше сиятельство...

Его уже не слышат.

Экзерсис продолжается.

Катя репетирует коду. В маленькой теплой гостиной не развернуться, а потому короткими шажками – по кругу, вдоль стен, пируэтами и не прыжками – лишь обозначением, колебанием подола короткой юбки... Поклон. Выход. Все с начала. Плавно вскинуты руки, вверх и вперед, с мольбой – к окну, в котором дробится по крышам, сияет сквозь тучи низкое зимнее солнце Петербурга.

У Медного всадника – уже не каре, а толпа. Первый круг – чернь, зеваки. За ними – окружившие восставших императорские войска, но с зеваками за спиной. Выходит, уже сами в окружении. На лесах Исаакия черным-черно от рабочих, под руками у них камни и бревна, что в любой миг могут по-

лететь в солдат. А вот следом, за полками, верными императору, колышутся примкнутые штыки москвитцев и лейб-гренадер. Мятежники сбились в кучки, многие опустили оружие, гомонят и болтают.

Плывет через толпу дурноезжий гнедой конь, бешено грызет железо, норовит стать за повод и вырваться. От борьбы с ним уже жарко даже без шинели. Дать бы шпоры, толкнуть на руку – но шпор нет, Милорадович нынче верхом не собирался.

Где-то в теплой гостиной стоит, замерев и задумавшись, Катя, глубоко и ровно дышит, настраивая себя на нужный для партии лад.

Горят в низком солнце бриллианты орденов на мундире, блестит рукоять наградного оружия. Чужая лошадь и парадная шпага – вот все, что досталось военному губернатору для усмирения солдатского мятежа. Полуодержками успокоив гнедого, он освобождает руку, чтобы разгладить, привести в порядок потрепанный галстук. Твердо правит коня на солдат.

Его выход!

Затихает площадь, замирают мятежники. Расступаются, шепчутся, становятся во фронт и торопливо оправляют шинели. На многих лицах едва ли не радость – ему все-таки верят.

– Солдаты!..

Тишина. Мертвая, почтительная, только лязгают ружья,

поднимаясь от ноги на караул, да скрипит под сапогами снег, когда ряды равняются, смыкаясь.

– Солдаты! Кто из вас был со мной под Кульмом, Лютценом, Бауценом?.. Под Бородино и Красным?..

Он называет сражения. За четвертым десятком изумляется сам – неужели и правда так много?.. Пятьдесят штыковых и ни царапины – он везучий! Может быть, повезет и сегодня.

– Кто из вас был со мной, говорите?! Кто из вас хоть слышал об этих сражениях и обо мне? Говорите же, ну!

Над площадью тихо, и даже гнедой присмирел и лишь какает трензель на языке.

– Никто? Никто не был, никто не слышал?..

Милорадович медленно снимает двугольную шляпу, бросает на снег. Крестится – размашисто, плавно, будто под счет. Он не считает – он чувствует, как хороший актер чувствует публику и оркестр.

– Слава Богу! Здесь нет ни одного русского солдата!

В гробовой тишине мятежники начинают переглядываться.

– Офицеры! Из вас уж, верно, был со мной кто-нибудь? Офицеры, вы-то все это знаете?.. Никто?..

Со стороны прилетает вдруг дерзкое:

– Вы и сами, ваше сиятельство, есть предначатия участники!

Он не ищет взглядом, но гнедой пляшет под шенкелем, перебирая черными ногами, крутится на месте. В переднем

ряду стоит Оболенский, в руках – солдатское ружье, в глазах презрение. Через губу бросает:

– Уезжали бы, ваше сиятельство, вам здесь опасно...

Отклоняясь в седле, чтобы удержать гнедого на месте, Милорадович вскидывает руку. На Оболенского он больше не смотрит.

– Бой мой! Благодарю тебя, Создатель, здесь нет ни одного русского офицера! Если бы здесь был хоть один солдат, хоть один офицер, вы бы знали, кто есть Милорадович!

– Оставьте солдат, ваше сиятельство! – кричит Оболенский, срывая голос. – Они делают свою обязанность! Прочь!..

Его никто не поддерживает, и крик затихает в пустоте. Все смотрят только на Милорадовича, они уже преданы ему как раньше, будто не рвали с плеча шинель, не избили кучера, будто не отправлен он к ним на вернейшую смерть...

Вылетает из ножен парадная шпага и, перехваченная в воздухе за острие, повисает над площадью. Милорадович читает вслух, звонко, торжественно, нараспев:

– «Другу моему...» А? Слышите ли? Другу!.. Что Милорадович не мог бы предать друга, знает весь свет, но вы о том не знаете! А почему?.. – вбросив шпагу в ножны, он вновь поднимает руку, обводит взглядом стройные, подтянутые ряды. Тишина над площадью мертвая, от Невы до Исаакия. – Почему?.. Потому что нет здесь ни одного офицера, ни одного солдата! Здесь мальчишки, буяны, разбойники!

Мерзавцы, оскралившие русский мундир, военную честь, название солдата! Вы – пятно России! Вы преступники перед царем, перед отечеством, перед Богом!..

Пляшет под шенкелем гнедой, крутится перед каре, вот-вот готовый сорваться. Оболенского нет, нет и других – никак, разбежались? Штыки горят стройными линиями, солдаты тянутся, замерев, сжимают ружья под приклад, неотрывно смотрят ему в глаза. Они – его. В его руках, в его укоряющем голосе.

– Что вы затеяли? Что сделали? О жизни и говорить нечего, но там... – жест в небо. – Там, слышите, у Бога, чтобы найти после смерти помилование, вы должны сейчас идти, бежать к царю, упасть к его ногам! За мною, все, слышите? За мной!..

Прыгает гнедой, взвивается на дыбы, и взброшены ружья, без команды, но воедино – подвысь, и раскалывает площадь, как выстрел:

– Ура, Милорадович!

В ярком солнце, невидимый, вьется пороховой дымок.

Последним усилием зажимая рану в боку, он роняет поводья, бросая гнедого вперед, на уставленный штык Оболенского.

Сотни пуль. Пятьдесят штыковых без царапин. Непростительная удача – он всегда возвращался.

По примятому серому снегу пятном яркого цвета – дорожка крови.

Экзерсис завершен.

Но все кончится несколько позже.

Опустеет, затихнет площадь у бронзовой прозелени Медного всадника, развеется после залпов пороховая гарь, успокоится Нева, и затаит полыньи свежий прозрачный лед. Похоронные команды соберут тела, вновь липкий снег выбелит мостовые, и стемнеет – быстро и сразу, как всегда зимой в Петербурге.

Плывет под луной в мерзлом небе кораблик на шпигеле Адмиралтейства.

Среди теплой гостиной Катя лежит на полу, обнимая себя под колени, и загнанно дышит.

Все кончено. Прошел этот страшный, серо-черный, кровавый день, воцарилась на улицах испуганная тишина, разве что изредка с треском подков пролетает верховой фельдъегерь, да в отдалении кто-то заунывно воет – то ли баба, а то ли собака...

Час назад здесь еще было людно, и Катя стояла на полупальцах и выделывала батманы и позы, пока остальные слушали, затаив дыхание, господина Майкова, что добрался все-таки до Милорадовича, умиравшего в казармах Конной гвардии, и выхлопотал себе персональную пенсию от императора Николая...

Теперь в гостиной мертвая тишина, и все пусто. Убежала кухарка – не иначе, погреть уши чужими новостями. Ушел приятель Петруша Каратыгин, сочувственно посмотрев на

прощание, как Катя стоит в равновесии и будто бы слушает боль усталых ног. Ушла Азаревичева, соседка снизу, так и не уговорив Катю спуститься к ней, чтобы скоротать время вместе. Ушел, отрыдавшись, господин Майков, теперь уже бывший директор театров.

Катя долго лежит посреди гостиной, а когда собирается с силами встать, за окном разливается серый петербургский рассвет, и самое время бежать на ежеутренний класс...

Для балетных так проходят годы и годы.

У Театрального училища, у черного хода, бьют копытами лошади, роняют пену в истоптанный снег. Катя машет кучеру казенной кареты. До Александро-Невской лавры далеко, на улице слякоть, но по скользким мостовым мимо мерзлых каналов старательно меряют путь легкие ножки, внутри ботиков перевитые лентами танцевальных туфель. Огоньки свечей золотятся в полумраке Духовской церкви, мерцают на иконах бриллианты окладов, тонко вьется дымок и пахнет ладаном, но Катя идет вперед, как танцует, каждый шаг – на четверти стопы, в равновесии...

Вернувшись домой, она спросит кофе. И быть может, даже повторит немного урок, выйдя на середину или опершись заместо станка на высокую спинку старого кресла...

Ярким пятном среди деревянной могильной плиты оста-

ется ворох цветов.